

~~Н. Прянишников~~

# Заметки о „Войне и мире“. Льва Толстого

~~(К 75-летию выхода в свет первого издания романа)~~

## I

Много лет спустя после того, как Лев Толстой написал «Войну и мир», он говорил: «Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную основную мысль. Так, в «Анне Карениной» я любил мысль семейную, в «Войне и мире» люблю мысль народную, вследствие войны 12 года».

Роман «Война и мир» был написан в 1865—69-х гг., а за несколько лет до того, в конце 50-х и в ~~самом~~ начале 60-х годов, Толстой пережил полосу страстного увлечения педагогическим делом. Основав в Ясной Поляне школу для крестьянских ребят, он лично занимался с ними по разным предметам, причем немало внимания уделял отечественной истории. В журнале «Ясная Поляна», где Толстой делился с читателями своим новаторским опытом в области педагогики, он рассказал и об этих занятиях по русской истории.

«Самый большой успех, — сообщал он, — имел, как и надо было ожидать, рассказ о войне с Наполеоном. Этот класс остался памятным часом в нашей жизни». И далее следует сжатый, но очень живой, художественно написанный отчет о преподанном ребятам уроке истории. Отчет этот заключает в себе и конспект урока, и вместе с тем описание самого процесса его, причем особенное внимание обращено на то, как реагировали ребята на рассказ о войне с Наполеоном.

«Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дело ~~дошло~~ до нас, со всех сторон послышались звуки и слова живого участия: «Что ж, он и нас завоюет?» — «Небось, Александр ему задаст», — сказал

~~Журнал «Ясная Поляна» за 1862 год, статья «Яснополянская школа за июль и сентябрь месяцы, II».~~

кто-то, знаяший про Александра, но я должен был их разочаровать, — не пришло еще время; и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру, и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту. «Погоди же ты!» проговорил Петька с угрожающим жестом. «Ну, ну рассказывай!» Когда не покорился ему Александр, объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон, с двадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, все замерли от волнения».

Нужно сказать, что у Льва Николаевича было несколько сотрудников по работе в Яснополянской школе, в том числе один немец, который присутствовал на данном уроке.

«— А, и вы на нас! — сказал ему Петька... «Ну, молчи!» закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей так, что со всех сторон спрашивали объяснений — зачем? И ругали Кутузова и Барклая. «Плох твой Кутузов». — «Ты погоди», — говорил другой... Когда пришла Бородинская битва, и когда в конце ее я должен был сказать, что мы все-таки не победили, мне жалко было их; видно было, что я страшный удар наношу всем».

Впрочем, юные патриоты тут же оправились от этого удара: «Хоть не наша, да и не ихняя взяла! Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, все загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество — отступление. «Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить», — сказал я. «Окорячил его!» поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы... Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади и никто не замечал, «Так-то лучше! Вот те и ключи», и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине и мы упустили его. Петька даже крякнул: «Я бы его расстрелял, зачем он опоздал!» Потом немножко мы пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. — «А, вы, так-то? То на нас, а как сила не берет, так с нами?» и вдруг все поднялись и начали ухваты на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, торжествовали, пировали. Только воспоминанье Крымской войны испортило нам все дело. «Погоди же ты, — проговорил Петька, потрясая кулаками, — дай я вырасту, я же им задам! Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили.

Уже было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это время. Никто не спал, даже у кукушек (так мальчишки драз-

Насадили на голову король,

чили девчонок. Н. П.) глазенки горели. Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Таракса и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня. «Как ты сюда залез?» «Он с самого начала», — сказал кто-то. Нечего было и спрашивать, понял ли он, видно было по лицу. «Чтэ, ты расскажешь?» спросил я. «Я-то? — он подумал, — всю расскажу». — «И я тоже». — «И я». — «Больше не будет?» — «Нет». И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окричил.

Можно предполагать, что та «народная мысль» о войне двенадцатого года, которая положена в основу «Войны и мира», могла возникнуть и выкристаллизоваться в творческом сознании Льва Толстого именно под впечатлением этой беседы его с яснополянскими школьниками. Недаром она так взволновала его и осталась навсегда «памятным часом» в его жизни. Можно считать, что группа крестьянских ребят-школьников, компетентность которых в отношении правильности и чуткости понимания самого главного Лев Толстой расценивал вообще очень высоко (вспомним его знаменитую, написанную в то же время, статью: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?»), была для Толстого как бы пробной аудиторией, а самая беседа с ними как бы сокращенной репетицией «Войны и мира». И нужно ли говорить о том, что в этом школьном рассказе о двенадцатом году, несмотря на всю его нарочитую упрощенность (применительно к возрасту и уровню развития ребят), уже намечены основные линии нашей русской Илиады и что читатели «Войны и мира» испытывали и испытывают те же самые эмоции, которые Толстой заставил пережить своих деревенских школьников, а именно: боль за любимую родину, ненависть к врагу-захватчику, гордое чувство непокоримости, ~~и~~ и, наконец, победное торжество над врагом.

## II

Известно, что Лев Толстой очень любил Лермонтова и очень высоко ценил его. И если можно говорить о влиянии на Толстого со стороны кого-либо из предшествовавших ему русских писателей, то прежде всего следует говорить, конечно, о влиянии Лермонтова. От Лермонтова идет характерный для Толстого глубокий и напряженный психологизм. Лермонтов является прямым предшественником Толстого и в ~~поразительном~~ реализме его батальных картин, чуждых какой-либо поэтизации войны, как таковой. Наконец, глубочайшая народность Льва Толстого по характеру своему ближе всего к той народности, какую мы находим именно у Лермонтова.

Годн. собр. сл. Л.Н. Толстого в 90 гг.  
т. 8, ч. 2 - 102.

Народность Льва Толстого ярче всего сказалась в его знаменитом романе «Война и мир», как это признавал и сам автор. Но он же засвидетельствовал однажды преемственную связь своей эпопеи со стихотворением Лермонтова «Бородино», сказав о нем так: «Его «Бородино» — это зерно моей «Войны и мира». В самом деле, при всей несоизмеримости этих двух шедевров русской литературы в отношении объема и жанра, — от каждого из них веет одним и тем же духом, подлинным духом русского народа, мужественно отстоявшего свою родину от наполеоновских полчищ. Сходство лермонтовского стихотворения и толстовского романа не ограничивается, однако, этой общей «тональностью» обоих произведений. Самое описание Бородинского сражения, стоящее в центре романа Толстого, есть как бы распространенное изложение тех самых событий, ~~моментов~~, о которых очень скжато, но, как оказывается, замечательно точно и, можно сказать, с документальной достоверностью рассказывает лермонтовский солдат-артиллерист, ветеран двенадцатого года. ~~(См. три об этом интересную статью Ираклия Андронникова «Бородино» в «Правде» от 22 июня 1941 года.)~~ В частности, та курганская батарея (или «батарея Раевского»), которая, по Толстому, была «самым важным местом в сражении» и куда он недаром поместил своего Пьера Безухова в качестве наблюдателя сражения, в точности соответствует тому «редуту», который, по Лермонтову, был главным объектом яростных, но безуспешных французских атак:

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий  
Французы двинулись как тучи,  
И все на наш редут.

~~Все это так, но еще никто, кажется, не подметил, что в~~ огромном романе Толстого есть ~~в одном месте~~ даже текстуальное совпадение с небольшим стихотворением Лермонтова. Кто непомнит наизусть тех строк из этого стихотворения, где изображаются настроение и поведение русских бойцов в ночь перед боем:

Прилег вздремнуть я у лафета,  
И слышно было до рассвета,  
    Как ликовал француз.  
Но тих был наш бивак открытый:  
Кто кивер чистил весь избитый,  
Кто штык точил, ворча сердито,  
    Кусая длинный ус.

У Толстого ~~же~~ в «Войне и мире» (том III, часть 2-я, глава XXXVI) читаем: «Полк князя Андрея был в резервах, которые до

2-го часа стояли позади Семеновского в бездействии под сильным огнем артиллерии... Большую часть времени люди полка, по приказанию начальства, сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирая сборки; кто сухою глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по-новому подвертки и переобувался.

Стоит сравнить выделенные нами строки у обоих авторов, чтобы увидеть их текстуальную близость, доходящую почти до тождества: тут и кивер, и штык, и притом совершенно одинаковое строение фразы! Это доказывает, что Толстой, исходя в сооружении своей гениальной эпопеи от лермонтовского стихотворения («зерно!»), настолько твердо держал в памяти его текст, что однажды (может быть, в порядке невольной реминисценции) даже свой текст построил по-лермонтовски.

### III

*Наполеонка*

Известно, что у Крылова есть несколько басен о 1812 году. Таковы «Волк на псарне», «Шука и кот», «Ворона и курица», «Обоз» и некоторые другие. Последняя из названных басен была написана против тех критиков Кутузова, которые обвиняли его в излишней осторожности и медлительности. Сам Александр I после Бородинского боя и занятия Наполеоном Москвы требовал от Кутузова решительных действий против проникшего в глубь России Наполеона. Кутузов же медлил, осуществляя свой гениальный стратегический план, и не внимал упрекам. Крылов правильно оценил мудрую стратегию Кутузова и написал в защиту ее басню «Обоз». Басня эта начинается так:

С горшками шел Обоз,  
И надобно с крутой горы спускаться.  
Вот, на горе других оставя дожидаться,  
Хозяин стал сводить легонько первый воз.  
Конь добрый на крестце почти его понес,  
Катиться возу не давая.  
А лошадь сверху, молодая,  
Ругает бедного коня за каждый шаг:  
«Ай, конь хваленый, то-то диво!  
Смотрите: лепится, как рак...

Раскритиковав в пух и прах «хваленного коня» (хотя тот благополучно свез свой воз), «молодая лошадь» нетерпеливо ждала своей очереди, заранее похваляясь:

*Д) Нап. сопр. соч. 1. н. № 11, стр. 252*

Гляди-тко нас, как мы махнем!  
Не бойсь, минуты не потратим,  
И возик свой мы не свезем, а скатим!

Но как только этот конь-хвальбишка стал на деле показывать свое «искусство», получился большой конфуз:

Воз начал напирать, телега раскатилась:  
Коня толкает назад, коня кидает вбок;  
Пустился конь со всех четырех ног  
На славу;  
По камням, рывтинам пошли толчки,  
Скачки,  
Левей, левей, и с возом—бух в канаву!  
Прощай, хозяйские горшки!

В третьем томе «Войны и мира» (часть третья, глава IV) дано описание военного совета в Филях, на котором особую активность проявлял враждебный Кутузову немец Бенигсен, стоявший за то, чтобы дать под Москвой еще одно (после Бородина) большое сражение. Предложение было неискреннее, хотя Бенигсен прикрывался высокопарной «патриотической» фразеологией — желанием защищать «священную древнюю столицу России». Когда прения на совете были исчерпаны, «Кутузов тяжело вздохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него. — Eh bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payerai les pots cassés, — » сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. — Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне государем и отечеством, я — приказываю этоступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с какой расходятся после пэхорон». *Которого*

Совпадение налицо: у Крылова — «хозяйские горшки» и у Толстого Кутузов говорит об ответственности за «перебитые горшки». Нам кажется, что совпадение это не случайно. Либо французская фраза о горшках была вложена Толстым в уста Кутузова произвольно, по праву беллетристического вымысла, — в таком случае она могла быть подсказана ему басней Крылова. Либо Кутузов действительно произнес эту фразу на историческом военном совете, что мог зафиксировать какой-нибудь мемуарист, а мы знаем, как добросовестно изучал Толстой всю литературу о 1812 где, особенно мемуарную, и как старался он быть максимально точ-

*Э* Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки.

*— Тогда я искренне благодарю вас за то, что вы вспомнили о моем*  
*и H. 18. 278.*

ным и достоверным относительно слов и поступков исторических персонажей своего романа. Но мы знаем также и то, с каким пристальным вниманием относился к личности фельдмаршала Крылов. Кутузов фигурирует у него почти во всех баснях о двенадцатом где и, прежде всего, в самой знаменитой из них — «Волк на пасарне». Интересно, что, по свидетельству современников, Крылов, написав эту басню, передал собственноручный список ее жене Кутузова, а та переслала мужу в действующую армию, и Кутузов однажды, после сражения под Красным, прочитал «Волка на пасарне» собравшимся вокруг офицерам, причем, дойдя до слов «Ты — сер, а я, приятель, сед», он снял свою белую фуражку и потряс наклоненною головой. Нет ничего удивительного в том, что при таком тесном «контакте» между знаменитым русским полководцем и знаменитым русским баснописцем «крылатые» слова о горшках, если только они действительно были сказаны Кутузовым, должны были «долететь» до Крылова, жадного к народной молве о любимом фельдмаршале, и он не замедлил положить данный образ в основу своей очередной «прокутузовской» басни. Хронология соответствует такому предположению: военный совет в Филях состоялся 1 сентября (по старому стилю) 1812 года, басня же Крылова «Обоз» была напечатана впервые в ноябрьской книжке «Сына отечества» за тот же год.

\* \* \*

Есть в «Войне и мире» еще одно совпадение с Крыловым. Мы имеем в виду басню «Ворона и курица». Она начинается «экспозицией», где население, оставившее Москву в 1812 году, сравнивается с роем пчел, покинувшим улей:

Когда Смоленский князь<sup>1</sup>,  
Противу дерзости искусством воружась,  
Вандалам новым сеть поставил  
И на погибель им Москву оставил,  
Тогда все жители, и малый и большой,  
Часа не трата, собралися  
И вон из стен Московских поднялися,  
Как из улья пчелины рой.

А в третьем томе «Войны и мира» XX глава 3-ей части начинается так: «Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий, обезматочивший улей...» И далее Толстой с исчер-

<sup>1</sup> То есть Кутузов.

пывающей полнотой, вплоть до мельчайших подробностей из жизни пчел, развивает это сравнение, так что оно разрастается у него в целую главу, напоминая развернутые сравнения у Гомера или у Гоголя в «Мертвых душах», но значительно превосходя их своими размерами. Можно сказать, что это — самое большое сравнение во всей русской литературе, и то, что мы находим его именно в «Войне и мире», вполне отвечает масштабам этой грандиозной эпопеи.

## IV

Читатели «Войны и мира» помнят колоритную и обаятельную фигуру друга Николая Ростова — Василия Денисова, прототипом которого послужил Денис Давыдов. Последний и сам увековечил свой образ в литературе — в своих талантливых стихах и высоко художественных очерках мемуарного жанра. Особенно интересен его «Дневник партизанских действий», по которому одному можно составить себе яркое и исчерпывающее представление об этом замечательном русском человеке. Толстой, несомненно, тщательно изучал этот документ, и следы этого изучения сказались не только в общем внутреннем сходстве между образом Василия Денисова и автором «Дневника», но и в некоторых конкретных позаимствованиях фабульного порядка.

Однажды крестьяне привели к Денису Давыдову шесть французских бродяг. «Между ними, — записывает он в «Дневнике», — находился барабанщик молодой гвардии, именем Викентий Бод (Vincent Bode) пятнадцатилетний ~~мальчики~~, оторванный от ~~родительского дома~~ и, как ранний цвет, перенесенный за три тысячи верст, под русские лезвие и на русские морозы! При виде ~~его~~ ~~интересного юноши~~, сердце мое облилось кровью; я вспомнил и дом родительский и отца моего, когда он меня, ~~записывал~~ в военную ~~ст~~, ~~нарку~~. К ~~как~~ предать несчастного случайнотям голодного, холодного бесприютного странствования, имея ~~все~~ средства к его спасению? Оставил его при себе, ~~и~~ велел надеть на него ~~казаки~~ штыком или дротиком, и ~~дозвез~~ таким образом, через горы и долы, из края в край, до ~~без~~ Парижа здоровым, веселым, и почти возмужалым, ~~где~~ передал его из рук в руки престарелому отцу его».

Этого мальчика-барабанщика мы находим и в «Войне и мире» (в 3-ей части IV тома, в главах, посвященных партизанскому отряду Денисова), причем Толстой оставил без изменения даже его имя. Впрочем, в отряде это мудрое имя было тут же переименовано на русский лад: «Имя его Vincent уже переделали казаки — в Весеннего, а мужики и солдаты — в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о моло-

деньком мальчике». (Вспомним сравнение Дениса Давыдова: «как раний цвет...»).

«Русификации» подвергся и внешний вид мальчугана, которого Денисов «велел одеть в русский каftан (ср. «чекмень» Дениса Давыдова) с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии».

Но повышенное сентиментальное отношение к пленному мальчику, которое Денис Давыдов выразил в своем «Дневнике» с такой аффектацией, Толстой, видимо, нашел не подходящим для своего Денисова и наделил им Петю Ростова в полном соответствии с возрастом последнего и с тем «восторженным детским состоянием нежной любви ко всем людям», в каком он тогда находился (сидя в лесной караулке, в обществе Денисова и его боевых товарищей).

Между прочим, по поводу этого барабанщика у Денисова произошел принципиальный спор с Долоховым. Долохов был против того, чтобы брать пленных, и иронизировал над тем, что Денисов церемонится с ними и «сдает их под расписки». Денисов же горячо стоял на своем: «—И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека.. Г'азве тебе т'рудно отослать 30 ли, 300 ли человек под конвоем в город, чем марать, я п'ямо скажу, честь солдата».

Спор этот перенесен в «Войну и мир» тоже из «Дневника» Дениса Давыдова, где Долохову соответствует Фигнер. Узнав, что Денис Давыдов не расстреливает пленных, Фигнер сказал ему: «Ну, так походим вместе, и ты верно бросишь эти предрассудки». Денис Давыдов ответил ему на это: «Если солдатская честь и со strадание к несчастию суть предрассудки, то я с ними умру».

## V

Лев Толстой брал свое добро отовсюду, где он его находил. При этом он не пренебрегал никакими мелочами: каждая из них могла пригодиться в его громадном хозяйстве. И, может быть, его историческая беллетристика потому именно и обладает такой не-пререкаемой убедительностью, что он не старался придумывать детали, а подбирал их среди всевозможных «реалий» эпохи. Но и тогда, когда он придумывал какую-нибудь деталь от себя, он делал это с такой проницательностью, с такой силой угадывания, что случайная сверка с действительностью не раз блистательно оправдывала его вымысел. Приведем один пример.

Читатели «Войны и мира» помнят, что Кутузов у Толстого, уже будучи главнокомандующим, в дни, когда решалась судьба России, все-таки находил время и возможность читать французские романы. В свое время это кое-кого шокировало, особенно высокопо-

ставленных лиц, в том числе — министра народного просвещения цари Александре II Норова, который в молодости был офицером и участвовал в Бородинском сражении. В беседе со своим секретарем Г. П. Данилевским (небезызвестным впоследствии историческим романистом) Норов так выражал свое возмущение: «Граф Толстой рассказывает, как князь Кутузов, принимая в Цареве-Займище армию, был более занят чтением романа Жанлис — «Les Chevaliers du Cygne»<sup>1</sup>, чем докладом дежурного генерала. И есть ли какое вероятие, что Кутузов, видя перед собой все армии Наполеона и готовясь принять решительный ужасный с ним бой, имел время не только читать роман Жанлис, но и думать о нем... До Бородина, под Бородиным и после него, мы все, от Кутузова до последнего подпоручика артиллерии, каким был я, горели одним высоким священным огнем любви к отечеству и, вопреки графу Толстому, смотрели на свое призвание, как на некое священное действие. И я не знаю, как посмотрели бы товарищи на того из нас, кто бы в числе своих вещей дерзнул тогда иметь книгу для легкого чтения, да еще французскую, в роде романов Жанлис».

Норов находил роман Толстого вообще не соответствующим исторической действительности и изложил этот свой взгляд в резко написанной статье, напечатанной в «Военном сборнике» за 1868 год. Через ~~две~~<sup>несколько</sup> месяца после того Норов умер. Данилевскому пришлось писать некролог. Каково же было его удивление, когда, собирая материал для этого некролога, он «случайно увидел крошечную французскую книжку из библиотеки Норова: «Похождение Родерика Рандома»<sup>2</sup> и на ее внутренней обертке прочел следующую собственноручную надпись Норова на французском языке: «Читал в Москве раненый и взятый в плен французами, в сентябре 1812 года». «То, что было с подпоручиком артиллерии в сентябре 1812 года, — ~~правильно~~ заключает Данилевский, — забылось через ~~44~~ лет престарелым сановником, в сентябре 1868 года, так как не подходило под понятие, невольно составленное им о временах двенадцатого года».

Находка Данилевского блестательно оправдала Толстого — художника и Толстого-патриота. Как истинный патриот, абсолютно чуждый какой-либо риторической фальши, ~~и т. д.~~ Толстой не боялся, что чтение французских романов умаляет величие Кутузова. А как художник-психолог, Толстой понимал, что то огромное, ~~и~~ сверхчеловеческое напряжение, в котором жил и работал старый фельдмаршал в 1812 году, ~~(особенно после принятого им ответственнейшего решения об оставлении Москвы)~~ было бы, может

<sup>1</sup> Рыцари Лебедя.

<sup>2</sup> Имеется в виду французский перевод известного английского романа, автор Смоллетт.

28  
В редкие минуты отдохновения  
Черновик  
Черновик

быть, непереносимо для него, если бы он не позволял себе иногда разного рода отвлечений, к числу которых относилось и чтение привычной беллетристики. Полного отвлечения, впрочем, не могло быть, потому что того главного, чем был занят Кутузов в те грозные исторические дни, он не мог забыть ни на минуту. Вот как писал об этом Толстой в «Войне и мире»: «Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал, но ночью он, не раздеваясь лежа на своей постели, большей частью не спал и думал... Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна была рана, нанесенная при Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но, во всяком случае, нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дольше проходило время, тем нетерпеливее он становился... Вопрос этот занимал все его душевые силы. Всё остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к т-ре Stahl, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздача наград, переписка с Петербургом и т. п. Но побитель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание». (Том IV, часть 2-я, глава XVII).

✓ в течение времени